**Даниил Гранин. «Пленные»**

Ночью было видно, как горел Ленинград. Издали пламя казалось безобидными крохотным. Первые дни мы гадали и спорили: где пожар, что горит, - и каждый думал про свой дом, но мы никогда не были уверены до конца, потому что на горизонте город не имел глубины. Он имел только профиль, вырезанный из тени. Прошел месяц, город все еще горел, и мы старались не оглядываться. Мы сидели в окопах под Пушкином. Передний край немцев выступал клином, острие клина подходило к нашему взводу совсем близко, метров на полтораста. Когда оттуда дул ветер, слышно было, как выскребывают консервные банки. От этих звуков нас поташнивало. Сперва

казалось, что к голоду привыкнуть нельзя. А теперь это чувство притупилось, во рту все время ныло. Десны опухли, они были как ватные. Шинель, винтовка, даже шапка становились с каждым днем тяжелее. Все становилось тяжелее, кроме пайки хлеба.

И еще мы слышали голоса немцев. Отдельные слова. Были слова, которые почему-то доносились к нам целиком. Когда-то я любил немецкий язык, мне он легко давался. Наверное, у меня была хорошая память. А может, у меня были способности. Елена Карловна ходила между партами - милая, чистая старушка с лиловыми щечками. "Горшкоф, уберите свои грязные ноги". Ботинки у меня были всегда грязные. И сейчас сапоги тоже грязные, в обмерзлой глине. Кирзовые сапоги промерзали насквозь. Пальцы на правой ноге болели, обмороженные. Я шагал, ступая на пятку. У хода, ведущего к землянке, мы встречались с Трущенко, медленно поворачивались и шли обратно, каждый по своему участку. На таком морозе нельзя было останавливаться. У Трущенко тоже были обморожены ноги и руки. Нам полагались валенки. У нас во взводе была одна пара валенок. Мы отдали ее Максимову. Он добывал мороженую картошку. Откуда он ее выкапывал, неизвестно. Он уходил с вечера и возвращался с несколькими картофелинами.

Никогда я не слыхал, чтобы снег так громко скрипел. Он вопил под ногами.

Прошлой зимой мы уезжали в Кавголово. Мокрый снег шипел под лыжами, не было никакого скольжения, и мы мечтали о морозе...

Неужели все это было? И я. Толя Горшков, спал в постели на простынях, и мать утром будила меня.

Я пошел назад. Я шел, держась за мерзлые стены окопа, потому что кружилась голова.

Какое отношение я имел к тому парню, который учил этот проклятый немецкий, который ходил на лыжах; носил полосатую футболку, ездил трамваем в институт? Никакого отношения я к нему не имел. Мы были совсем чужие люди. Я знал все, что он делал, но никак не мог понять, почему он так делал и почему он так жил. А он и вовсе не знал меня. Прошлое отдиралось слоями, как капустные листья. Неужели, если я выживу, я опять стану другим, и все это: окопы, голодуха - останется лишь воспоминанием о ком-то, кто воевал под Пушкином?

Мы сошлись с Трущенко и, дождавшись, когда немцы пустили ракету, осмотрели друг у друга лица, нет ли белых пятен. Когда ракета погасла, мы услыхали голоса. Оттуда. В темноте почему-то лучше слышно. Голоса доносились не из немецких окопов, а ближе. Странно было, что разговаривали не таясь, весело. Мы поднялись на приступку и сквозь снег увидели двоих, две тени. Они двигались прямо на нас. Они шли во весь рост, один большой, другой поменьше. Они обнимались, притоптывали и что-то кричали, не нам, а себе.

Мы подняли винтовки. Взлетели ракеты. Мерцающий свет посыпался на этих двоих; они приближались к нам, они были совсем рядом, на низеньком была голубиная офицерская шинель с меховым воротником.

Трущенко прицелился - я остановил его. Он сперва не понял, а потом понял, и мы стали ждать.

Высокий поддерживал маленького, свободными руками они дирижировали себе и орали какую-то песню про Лизхен.

- Стой! Хальт! - закричал я.

Трущенко толкнул меня:

- Чего орешь?

Я и сам не знаю, зачем я крикнул. Но немцы и ухом не повели. Они вскарабкались на бруствер и свалились к нам в окоп. Мы наставили на них винтовки. "Хенде хох!" Они ползали по дну траншеи, не обращая на нас никакого внимания, и ругались. Когда солдат ругается, это всегда понятно, на каком бы языке он ни ругался.

- Ох и нализались! - сказал Трущенко. - Мать честная!

Прибежал взводный, мы доложили ему про немцев. Взводный приподнял офицера за воротник и разозлился.

- Что вы мне брешете, - закричал он, - там же заминировано!

Мы ничего не могли ему объяснить. Нейтральная была заминирована нашими еще осенью, потом ее минировали немцы, потом снова наши. Ее минировали без конца. Она была вся утыкана минами; как прошли по ней эти двое, никто не понимал.

Взводный приказал тащить немцев в землянку. Лейтенанта кое-как доволокли, а с ефрейтором мы замучились. В узком окопе его никак было не ухватить. Чуть его стукнешь - он сразу начинал петь. Голосище у него здоровенный. Он висел на нас, обнимая за шеи, и вопил эту идиотскую песню про Лизхен.

В землянке мы свалили их на пол, и они сразу захрапели, даже не чувствовали, как взводный обыскивал их. Максимов дал мне ломтик картошки. Она была гнилая. Я посасывал ее осторожно, чтобы не тянуть кровь из десен. Ребята спорили, зачтут ли нам с Трущенко этих двоих как пойманных "языков". За каждого "языка" обещали звездочку или по крайней мере медаль.

Ефрейтор храпел, распустив губы, блаженный, краснощекий. Лейтенант свернулся калачиком, положил голову ему на живот. Максимов присел перед ними на корточки, потянул носом.

- Не иначе как ром, - сказал он, - вот сволочи!

От них пахло кисло и сытно. От этого запаха мутило.

- Выкинуть их на мороз! - сказал кто-то.

Их бы и выкинули, но ни у кого сил не было.

Проснулся я, когда взводный будил немцев. Первым заворочался ефрейтор.

Он застонал, отодвинул лейтенанта, сел и уставился на нас без всякого смысла и выражения. Голова лейтенанта стукнулась об пол, и лейтенант тоже проснулся. Он долго потягивался, зевал. Потом повернулся на бок и увидел нас. В землянку набилось много народу. Все молчали. Трущенко рядом со мной тихо закашлялся, зажал рот рукой. Лейтенант тупо посмотрел в его сторону и вдруг засмеялся. Медленно, зябко так засмеялся. Потом поднял руку в перчатке, с любопытством оглядел ее, погрозил нам пальцем, сладко зевнул и снова улегся спать. Ефрейтор схватил его за плечо:

- Руссиш! Руссиш зольдат!

Тут лейтенант подпрыгнул, вскочил на ноги, схватился за пистолет. И как это мы забыли разоружить его? Он выдернул свой вальтер, но ребята даже с места не стронулись. Командир роты стоял в дверях. Он усмехался. И мы, тоже усмехаясь, смотрели на лейтенанта и ждали. Рука лейтенанта дрожала.

- Гут морген, - сказал капитан.

Все засмеялись. Тихо так засмеялись, и лейтенант тоже засмеялся. Тогда мы перестали смеяться и смотрели, как смеется он, и разглядывали его красные десны. Лейтенант сморщился, потер голову. Видно, голова у него трещала. Он сказал несколько слов ефрейтору.

Ребята смотрели на меня. Неделю назад меня посылали в штаб, там требовались переводчики. Я сказал, что не умею переводить. Я не хотел работать в штабе, я хотел стрелять, а не возиться с пленными. Мне удалось отговориться, и ребята не выдавали меня, но теперь им очень хотелось

узнать, что говорит лейтенант.

- Он сказал, что все это сон, что им снится дурной сон, - перевел я.

Лейтенант прислонился к стене, зевнул. Ефрейтор моргал, ничего не понимая, дурацкая у него была морда. Потом он начал икать и попросил пить.

- Болезный ты мой, - сказал Трущенко. - Опохмелиться тебе? Квасу тебе? Рассолу тебе? Из-под капустки? Вот тебе, сука! - И ткнул в лицо ефрейтору кукиш из синих, помороженных пальцев.

Тут все словно очнулись. Ефрейтор попятился к лейтенанту, глаза его от страха побелели, он схватился за грудь и стал блевать. Трущенко совсем зашелся, вырвал у лейтенанта пистолет, еле его оттащили.

- Дайте воды, - сказал ротный.

Котелок дрожал в руках ефрейтора, вода расплескивалась, он пил, отфыркивался, мотал головой, словно лошадь, а глаза его оставались белыми. Лейтенант сполз по стене и сидел в блевотине, покачиваясь из стороны в сторону, открывал глаза, и снова закрывал, и снова открывал, словно на что-то надеясь.

- Спроси, Горшков: как они попали к нам? - сказал ротный.

Я спросил. Лейтенант, улыбаясь, закрыл глаза.

- Не понимают, - сказал я.

- Встать! - крикнул командир роты. - Смирно!

Он гаркнул так, что мы вскочили, и лейтенант вскочил и вытянулся, как и мы.

- Вот так-то, - сказал командир роты. - А ты говоришь, не понимают. Поведете их в штаб армии.

Сопровождать приказали Максимову и мне. Нам передали пакет с их

окументами. Я пробовал отговориться. Никто из нас не любил ходить вгород. Но взводный сказал, что сопровождающий должен на всякий случай знать ихний язык.

Новенький скрипучий снег завалил траншеи. Немцы, проваливаясь, шли впереди. Утро догоняло нас. Оно поднималось такое ясное, жгучее, что глазам было больно. В поле нас два раза обстреляли минометы. Мы падали в снег, и в последний раз, когда мы упали, я остался лежать. Максимов что-то говорил мне, а мне хотелось спать. Или хотя б еще немного полежать.

Максимов ткнул меня ногой. Зрачки лейтенанта сузились, они быстро обегали меня, Максимова, пустынное белое поле и на краю этого поля развалины пушкинских домов, где сидели немцы и от которых мы ушли совсем недалеко.

Я поднялся и стряхнул снег с затвора.

Главное было перебраться через насыпь железной дороги. Взбирались мы осторожно, хоронясь от снайперов. Немцы ползли впереди, снег сыпался нам в лицо, над нами блестели кованные железками толстые подошвы. Максимов запыхался и отстал. На полотне я прилег между липких от мороза рельсов. Немцы уже спустились вниз и ждали нас, а Максимов еще карабкался по насыпи; он махнул мне рукой: иди, мол, я отдышусь.

Немцы ждали меня у подножия насыпи. Я скатился прямо на них. Они расступились. Им ничего не стоило повалить меня, отобрать винтовку. Непонятно, почему они этого не делали. Ефрейтор ожидающе смотрел на лейтенанта, а тот стоял, закрыв глаза, потом он мучительно сморщился и открыл глаза.

Лейтенант ловил мой взгляд. Голова у меня стыла от мороза, и меня все сильнее тянуло в сон.

- Алкаши вонючие, сволочь фашистская, - говорил я, - захватчики, выродки вы оголтелые!

Я крикнул Максимову. Я испугался, что он замерзнет. Максимов был удивительный старик. Никого я так не уважал, как Максимова. Он не прятал свой хлеб, утром отрезал кусок, съедал, а остальное клал на котелок и уходил в наряд. И кусок этот лежал на нарах до вечера. И все, кто был в землянке, старались не смотреть туда. Ругали Максимова и так и эдак, а потом сами начали оставлять свои пайки. Намучились, пока привыкли. Только Трущенко съедал сразу: чего оставлять, говорил он, а вдруг убьют.

Мы вышли на шоссе и двинулись прямо на город. Он был перед нами. Хочешь не хочешь, мы должны были смотреть, как он разворачивался впереди со своими шпилями, и трубами, и соборами, и дымными столбами пожарищ, которые поднимались то там, то тут, такие толстые прямые колонны с завитками наверху.

Для немцев это, наверное, выглядело красиво, и солнце в дыму, и воздух, который красиво искрился и рвал нам горло. Шелестя, проносились над нами невидимые снаряды и взрывались где-то посреди города. Мы ощущали лишь глухой толчок земли. Сперва мягкий шелест над головой, потом удар. Воздух оставался чист, и небо оставалось голубым. Мы держали оборону, мы защищали

город, а они все равно добирались туда через наши головы, они били, били каждое утро и после обеда, перемалывая город в камень.

Шоссе было пустынно. Мы держали винтовки наперевес. Я уже не чувствовал пальцев. Вряд ли я сумел бы выстрелить, если б немцы побежали. Они шли впереди. Они шагали так, что мы не поспевали за ними, и тогда я кричал "хальт". Они послушно останавливались, лейтенант ждал нас, сунув руки в карманы. Щека его побелела. Я хотел было сказать ему об этом, но разговаривать на морозе было больно. Завыла мина. Немцы бросились в снег. Я остался стоять, только сжался весь. Я чувствовал, что если лягу, то уже не поднимусь. И Максимов остался стоять. Мы стояли и смотрели друг на друга. Мина рванула метрах в ста. Снежная пыль и мерзлые комья земли.

За контрольным пунктом полегчало, стали попадаться встречные машины. Мы перекинули винтовки через плечо, и я сунул руки в карманы.

На фронте было шумно, а в городе совсем тихо, и чем дальше, тем тише. Мы забирались в скрипучую тишину. Солнце горело на стеклах. Мы шли посреди мостовой, потому что панели были завалены снегом и щебнем.

Подул ветер. Он продувал насквозь. От слабости мы были такими легкими, что казалось, ветер этот может унести и покатить нас по проспекту. Я взял Максимова за хлястик.

- Ты чего? - спросил он, а потом понял, потому что сам был такой же легкий и его тоже могло унести.

- Зайдем, - сказал он, и мы зашли передохнуть в трамвай. Он стоял, занесенный снегом, с открытой дверью. Мы вошли и сели на скамейки.

- Зетцен зи, - сказал я, и немцы сели с нами. Напротив нас сидел замерзший старик. Каракулевый воротник его шубы был поднят. Наверное, тоже когда-то зашел сюда укрыться от ветра.

- Да, мы попались, капут, - сказал ефрейтор.

Лейтенант, не отводя завороженных глаз от старика, поднял воротник.

- O, main Gott! [О, мой бог! (нем.)] Ты дурак. Мы не могли попасться, всюду заминировано. А мы даже не ранены. - Лейтенант кивнул на старика. - So das geht es nicht [так не бывает (нем.)].

Это была "девятка". Каждое утро я садился на "девятку" и ехал в институт. У Флюгова подсаживались наши ребята из общежития. В вагоне становилось тесно и жарко. А в детстве мы ездили с матерью в Лесотехническую академию к отцу. Он учился там на курсах лесников. Мы ехали на "девятке". Всю дорогу я смотрел в окно... Я открыл глаза и увидел замерзшего старика. Я закрыл глаза и увидел белый корпус института среди сосен.

Как бы далеко в прошлое я ни уезжал на этом трамвае, он все равно привозил меня сюда, в эту зиму. Никак я не мог спрыгнуть на ходу и остаться там, в парке.

Лейтенант покосился на меня и сказал громко:

- Ничего, Рихард, я проснусь, и окажется, что я ледку у Прандборта на диване.

Ефрейтор смотрел на него со страхом.

- А я? - тупо спросил он.

- А ты тоже пьяный, как свинья, валяешься в коридоре.

Он говорил это уверенно и серьезно, обращаясь больше ко мне. Ефрейтор пытался улыбаться, но в его выпученных глазах белел страх. Он ничего не понимал. Вдруг я заметил у лейтенанта странную маленькую улыбку, словно он догадался, о чем я думаю, подслушал. Это была уличающая улыбка, тайный знак соумышленника.

Я стиснул винтовку.

- Ах ты подлец, - сказал я, - не надейся, ничего у тебя не получится!

- О чем речь? - спросил Максимов.

Я перевел ему. Тогда Максимов пристально стал разглядывать лейтенанта.

- Ловко придумал, гаденыш.

Маленькое лицо лейтенанта напряглось.

- Что он сказал, пожалуйста, я хочу знать, - обеспокоенно спросил он.

- Хитрите, вот что он сказал. - Я видел, как ефрейтор насторожился.

- А вы сами... разве это не сон... вы ведь тоже... - горячо начал лейтенант, но Максимов поднялся.

- Кончай разговор!

Выходя из трамвая, лейтенант потрогал свою белую щеку и, видимо, ничего не почувствовав, успокоился.

Посреди улицы чернела большая воронка. Пришлось карабкаться по заснеженному завалу из кирпичей и балок рухнувшей стены дома. А дом стоял как в разрезе. И перед нами были комната, стол, накрытый клеенкой, на столе блестела селедочница, а на стене портрет Ворошилова; грудь его была увешана орденами. Открытая дверь вела прямо в небо.

- Видишь! - обрадованно сказал лейтенант ефрейтору. - Видишь! - Он вытянулся, замахал руками, словно собираясь взлететь. - Видишь, видишь, что я говорил! - кричал он.

- Заткнись... ты!.. - сказал Максимов и стал снимать винтовку.

Лейтенант схватил меня за рукав так, что я пошатнулся, и заговорил быстро-быстро, засматривая в лицо:

- Так не бывает. А может, вообще вся эта война приснилась. Мне часто снилась война в детстве. Aber andere Krieg [правда, другая война (нем.)].

Может, я проснусь и пойду в школу...

У него были совсем прозрачные, голубенькие глаза. "Господи, ему, наверное, тоже лет двадцать, - подумал я, - или двадцать два. Наверное, только что из дому..."

На перекрестке среди развалин работали несколько женщин и подростков. Женщины были в ватных брюках, а мальчишки закутаны в платки. Они вытаскивали из-под развалин станок. Каким-то образом они подсунули полозья и теперь пытались сдвинуть станок. Седая, совсем прозрачная женщина тихо кричала: "А ну, взяли еще раз, еще разик!" - и голос ее был прозрачный. Все толкали станок, но ничего у них не получалось. Они мгновенно уставали и отдыхали, привалясь к станку, а женщина продолжала тихо кричать: "Еще разик!"

Максимов молча показал немцам на станок. Женщины расступились. Немцы уперлись в станину, и мы тоже. Полозья отодрались, скрипнули, тронулись, женщины подхватили веревки, впряглись.

Мальчик в беличьей шубе, подпоясанной скакалкой, приблизился к лейтенанту и стал разглядывать его ноги в начищенных голенищах. Осторожно коснулся его плотной шинели и тотчас отдернул руку, почти брезгливо отдернул, и поспешил к женщинам, которые бесшумно удалялись от нас. Они шли, облепив станок, как будто он тащил их за собой, и приговаривали: "Еще

разик, еще раз".

- Смотрите, фрицы, смотрите, - сказал Максимов. - Чтобы потом не обижались.

Я не стал им переводить, но лейтенант заговорил, он поминутно на ходу оборачивался ко мне, говорил, спотыкаясь о кирпичи, о выбоины, хватался за ефрейтора, выкрикивал, словно помешанный; я понимал уже не все, отдельные слова, обрывки фраз, но ему было все равно, он говорил не для меня.

- Unmoglich... Das Leben kann nicht so schrecklich sein... Traum... Alles ist moglich... Bei Freud steht... Es ist nicht war... Bin Traum ist nicht strafbar... Habe kein Angst... Alles vergeht... Ich weib... Das wahre Leben ist Kindheit... Mein Onkel... Wir sitzen im Garten...

[Невозможно... Жизнь не может быть так ужасна... Сон... Все возможно... У Фрейда есть... это не реально... Сон не наказуем... Не боюсь... Все пройдет... Знаю... Настоящая жизнь - это детство... Мой дядя... Мы сидим в саду... (нем.)]

Мы обогнали старуху. Она брела, опираясь на палку, нет, то была не палка, а лакированная ножка столика. Девичьи золотисто-пепельные волосы свесились на ее закопченное лицо. Увидев немцев, женщина даже не удивилась, ничего не крикнула, она подняла палку, пошатнулась, я поддержал ее. Она могла только поднимать и опускать палку.

Ефрейтор закрыл голову руками. Лейтенант, не двигаясь, следил за ней, потом он взглянул на нас с торжеством.

- Боитесь, - сказал я. - Angst!

Внезапно я понял, что никак не могу доказать ему, что это не сон. Что б он ни видел, он будет твердить свое, и ничем его не убедить...

Ефрейтор вдруг не выдержал и закричал, и тогда я тоже закричал, замахнулся прикладом на лейтенанта, а ефрейтор ударил его.

Максимов выстрелил в воздух, какие-то бойцы выскочили из дота, растащили нас.

- Дурила ты, так тебя растак! - накинулся на меня Максимов. - Под трибунал захотел? Пусть он утешается. Иначе тронуться может. Приведем психа, какой с него "язык" будет?!

У лейтенанта текла кровь из носа, он не вытирал ее и, твердо глядя мне в глаза, говорил:

- И во сне бывает больно.

Максимов погнал его вперед. Теперь я шел рядом с ефрейтором, а лейтенант шел впереди и говорил громко, безостановочно, не обращая внимания на цыканье Максимова.

Голос его гудел в моей голове. Я плотнее завязал наушники, чтобы не слышать его. Если б я не знал языка!.. Хорошо было Максимову, он шел себе и шел и не обращал внимания на немца.

У самого штаба нам попались сани с мертвецами, уложенными в два ряда и прикрытыми брезентом. Внизу лежал труп молодой женщины. Волосы ее распустились, голова моталась, запрокинутая к небу. А над ней торчали чьи-то ноги, и сапоги стучали по лицу.

- Боже, сделай так, чтобы я проснулся! - хрипло сказал лейтенант. - Я хочу проснуться. Я буду жить иначе. Это ведь все не со мной... Это не я! Вы тоже спите. Вы все спите!

- Смотри, смотри, - говорил Максимов. - Может, когда приснится.

В штабе мы сдали немцев дежурному и сели у печки в комнате связных. Я сразу задремал. Максимов меня еле растолкал и заставил выпить чаю и дал кусок сахару. Это он заработал у связных за рассказ о немцах. Не знаю, чего он им наговорил. Я пил и смотрел в кружку, как тает и обваливается кусок сахару. Связные рассуждали: симулянт этот немец или он псих? Потом Максимов расспросил насчет второго фронта, когда его наконец откроют.

Под вечер мы собрались к себе, на передовую. Во дворе мы увидели наших немцев, их выводили после допроса. Ефрейтор посмотрел на меня и сказал:

- Он предал фюрера.

Лейтенант засмеялся. Обе щеки его были белые.

- Я свободен, - сказал он. - Пока я сплю, я свободен. Плевал я на всех.

Schert euch zum Teufel! [Катись все к черту! (нем.)]

- Послушай, что ж это получается, - сказал я Максимову, - видишь, как он устроился?..

- А тебе-то что?

- Так нельзя. Он хочет, чтоб полегче... Нет. Пусть он знает, - сказал я. - Иначе что ж это... я, мол, не я... Так, придурком, всякий может... -

Я стал снимать винтовку.

- Эх ты, - сказал Максимов, - свернул он тебе мозги.

Раздался крик, не знаю, кто кричал. Мы только увидели, как ефрейтор прыгнул на лейтенанта, повалил его, схватил за горло.

Был момент, другой, когда все - связные и конвойные - стояли и смотрели. Не то чтоб даже момент, а некоторое время стояли и смотрели.

Ефрейтор был сволочь, фашист, но они его понимали, и им тоже хотелось, чтобы он вышиб наконец из лейтенанта весь этот бред, эту надежду на сон. Когда немцев растащили, я слышал, как ефрейтор бормотал:

- ...Задушу!.. Он у меня проснется... Ночью задушу...

Обратно мы шли долго и часто отдыхали. Мы прошли контрольный пункт, и я вспомнил про ордена: так мы и не спросили, дадут ли нам за этих немцев ордена.

- А зачем тебе, - сказал Максимов, - за такое дерьмо... Я этого лейтенанта сразу разоблачил.

- А как ты разоблачил?

- А когда в землянке он за пистолет схватился.

- Ну?

- Ну, и не выстрелил. Если во сне, почему б ему и не пострелять?

Мы свернули с шоссе. Утренние следы наши замело, снег лежал снова пушистый и ровный, как будто никто тут никогда не ходил.

- Конечно, страшно им, - сказал Максимов.

- А ты не боишься?

- Мне-то чего бояться?

- А я боюсь... Нет, я другого боюсь, - сказал я. - Что потом забуду все, вот я чего боюсь...

Быстро темнело. Сзади захлопали зенитки, стало слышно, как бомбят город, и, наверное, горели дома. Мы не оборачивались. Иногда мы останавливались, отдыхали, и тогда я начинал думать про лейтенанта. Он не давал мне покоя.

- А что, если он и вправду вроде спит, - спросил я, - а потом проснется?

Максимов посмотрел на меня и сплюнул.

- Нет, ты подожди, - сказал я. - Вот у меня тоже бывает... только иначе, конечно... мне иногда кажется, что все это сон. - Я показал назад, на горящий город.

- Послушай, парень, - со злостью сказал Максимов, - ты лучше заткнись. И не мотай себя.

- Ладно, - сказал я.

Я старался больше об этом не думать.

Я думал о том, что у нас в окопах все же полегче, чем тут, в городе, от нас хоть можно стрелять, я думал о том, что, когда мы доберемся до взвода, будет темно, и хорошо, что темно, не надо пригибаться, как мы хлебнем горячей баланды, ничего даже рассказывать не будем, а сразу завалимся

спать.

1964